

ПЕТИ

ГУТЕН  
ХИМ

НА ПИКЕ ВЕКА

ИСПОВЕДЬ ОДЕРЖИМОЙ  
ИСКУССТВОМ

Пегги Гуггенхайм

**На пике века. Исповедь  
одержимой искусством**

«Ад Маргинем Пресс»

1979

УДК 7.074(73)(092)Гуггенхайм П.  
ББК 85.101.3д(7Сое)Гуггенхайм П.

## **Гуггенхайм П.**

На пике века. Исповедь одержимой искусством / П. Гуггенхайм —  
«Ад Маргинем Пресс», 1979

ISBN 978-5-91103-461-0

Пегги Гуггенхайм (1898–1979) – главная покровительница художников XX века и страстный коллекционер – собрала лучшую коллекцию искусства первой половины прошлого столетия, в которую вошли произведения Пабло Пикассо, Джексона Поллока, Константина Бранкузи, Жоана Миро, Александра Кольдера, Виллема де Кунинга, Марка Ротко, Альберто Джакометти и Марселя Дюшана. В 1938 году она открыла свою первую галерею современного искусства в Лондоне, а впоследствии – культовую галерею Искусство этого века в Нью-Йорке. После короткого брака со своим третьим мужем, художником Максом Эрнстом, Гуггенхайм вернулась в Европу, обосновавшись в Венеции, где прожила всю оставшуюся жизнь, открыв там один из самых посещаемых сегодня музеев современного искусства в Италии. «На пике века» – невероятно откровенная и насыщенная история жизни одной из самых влиятельных женщин в мире искусства.

УДК 7.074(73)(092)Гуггенхайм П.  
ББК 85.101.3д(7Сое)Гуггенхайм П.

ISBN 978-5-91103-461-0

© Гуггенхайм П., 1979  
© Ад Маргинем Пресс, 1979

## Содержание

Предисловие Гора Видала	6
Предисловие Альфреда Х. Барра-младшего	8
Глава 1. Привилегированное детство	10
Глава 2. Девичество	19
Глава 3. Замужество	26
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Пегги Гуггенхайм

## На пике века. Исповедь одержимой искусством

Peggy Guggenheim  
Out of this Century  
Confessions of an Art Addict  
André Deutsch

Copyright © Peggy Guggenheim 1946, 1960, 1979

Foreword © Gore Vidal 1979

'Venice' © Ugo Mursia Editore 1962

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2018

© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2018

\* \* \*

*Джеймсу Джонсону Суини*

*Касательно посвящения данной книги имел место следующий телефонный разговор:*

**Пегги Гуггенхайм:** *Суини, хочу задать тебе неловкий вопрос. Ты не возражаешь, если я посвящу тебе свои мемуары?*

**Джеймс Джонсон Суини:** *Напротив, я буду счастлив и польщен.*

**Пегги Гуггенхайм:** *Надеюсь, ты не успеешь об этом пожалеть.*

**Джеймс Джонсон Суини:** *Надеюсь, ты не имеешь в виду, что я умру раньше.*

## Предисловие Гора Видала

Зимой 1945/1946 года я был уорент-офицером армии США и служил в Митчелл-Филд, Лонг-Айленд. Я только что закончил свой первый роман «Уилливо», вдохновленный опытом работы в качестве старпома на грузовом транспортном судне на Алеутских островах. До того как я поступил на военную службу в возрасте семнадцати лет, я жил в Вашингтоне, округ Колумбия. В моей семье все были политиками и военными. Я перечисляю эти маленькие факты моей биографии, чтобы создать картину своей жизни на тот момент, когда я впервые встретил Пегги Гуггенхайм.

В начале той зимы я познакомился с Анаис Нин. Мне было двадцать. Ей было сорок два. Наши долгие и непростые отношения – Отношения – начались на холоде, как спел бы сладкоголосый певец из «Камелота». Анаис была блистательной дамой и выглядела моложе своего возраста; она говорила тихо и с любопытным акцентом; она сочиняла небылицы, которые своей красотой и странностью превосходили даже ее книги – возможно, потому что в книгах она была если не правдива, то хотя бы искренна, тогда как вслух она произносила вещи только с целью доставить удовольствие – как себе, так и окружающим.

«Я возьму тебя на вечеринку, *chéri*», – провозгласила она. Мы были в квартире в Гринвич-Виллидж в пятиэтажном доме без лифта, где она жила со своим мужем (банкиром, который снимал фильмы, делал гравюры и помогал Анаис изображать голодающую богему). Анаис всегда называла меня *chéri* с несколько насмешливой интонацией. Я тогда еще не читал Колетт и понял шутку только через несколько лет. Она, впрочем, тоже понимала не все мои шутки. Итак, *chéri* и Анаис отправились в дом Пегги Гуггенхайм (описанный на странице 275), и *chéri* с тех пор не забыл ни единой детали того яркого, магического (это слово часто использовали в те дни) события. Мне кажется, что тот вечер, как герой «Большого Мольна», все еще продолжается в одном из переулков Нью-Йорка, и Анаис все еще жива и молода, и *chéri* так же юн, и Джеймс Эйджи пьет без меры, и Лоуренс Вэйл хвастается бутылками, которые он расписал, предварительно влив их содержимое в себя как часть творческого процесса, и Андре Бретон так же царствует на троне, и Леже сам выглядит как те механизмы, которые он любил рисовать, и мир красок и юмора все еще где-то есть и в него можно было бы вновь войти, если бы только кто-то не спутал адрес. Недавно я наткнулся на старую телефонную книгу. Я нашел номер Анаис тридцатипятилетней давности. Уоткинс что-то-там. Я позвонил по этому номеру; частичка меня ждала, что она ответит. Если бы она взяла трубку, я бы спросил, все еще ли сейчас 1945-й, и она бы сказала: «Конечно. А какой ты думал?», и я бы сказал: «Нет, сейчас 1979-й, и ты мертва». (*Chéri* никогда не отличался тактом.) Она бы засмеялась и ответила: «Еще нет».

Еще нет. Что ж, это «еще» по-прежнему живо. Как и Пегги Гуггенхайм. Когда я впервые ее увидел, она улыбалась – несколько сонно. Я помню, что у нее на шее висело что-то странное... Какое-то варварское украшение. Моя память не так безупречна, как я думал. На самом деле, я с большей четкостью запомнил красные пропитые глаза Эйджи и седые развевающиеся волосы Вэйла, чем Пегги, которая с плавной легкостью скользила по своей вечеринке, будто сама была гостьей, а не хозяйкой.

Вот оно. Периодически я, что называется (как сказал бы Генри Джеймс), улавливаю ауру Пегги. Хотя она устраивала вечеринки и собирала картины и людей, в ней было – и есть – нечто холодное и неприступное. Она не суетится. Она способна молчать; это редкий дар. Она способна слушать – дар еще более редкий. Она мастер одной фразой охарактеризовать некое понятие, черту характера или человека. Пока я пишу это, я пытаюсь вспомнить какой-нибудь остроумный пример, но не могу. Так что, возможно, ты просто с удовольствием вспоминаешь ее сухой тон и ту лаконичность, с которой она выдавала свои эпитафии.

Пегги никогда не испытывала теплых чувств к Анаис. По какой-то причине я ни разу не спросил у нее почему. В прошлом году незадолго до восьмидесятилетия Пегги мы сидели в *salone*<sup>1</sup> ее палатки на Гранд-канале в Венеции (пока я пишу это предложение, я начинаю представлять Пегги как последнюю трансатлантическую героиню Генри Джеймса; Дейзи Миллер, только более дерзкую), и вдруг Пегги сказала: «Анаис была очень глупа, не так ли?» Эта тонкая манера делать утверждения в форме вопроса отличает поколение Пегги от современности, в которой нет места вопросам, а только громким самодовольным констатациям.

– Нет, – ответил я, – она была весьма дальновидна. И она добилась именно того, чего хотела. Она поставила себе целью стать легендарной фигурой, – Анаис всегда произносила слово «легенда» с благоговением. – И она прожила достаточно долго, чтобы увидеть себя героиней движения за освобождение женщин.

– Может, для этого и нужно быть дальновидной, – ответила Пегги; в закатном свете ее узкие сонные глаза вдруг вспыхнули, как кошачьи, – но мне кажется, это довольно глупая цель.

Теперь время – и отчасти собственная дальновидная натура Пегги – превратило ее в легенду того самого толка, к которому стремилась Анаис – в высоко романтического интеллектуала в духе Мюрже. И все же легендарная Пегги не спускает глаз с мира вокруг себя – а он сдает быстрее, чем она сама. Даже Венеция уходит в воду под ее недостроенным белым палатком. Если заветная мечта любого солипсизма – это забрать мир с собой после своей смерти, то Пегги вполне может в конце концов забрать Венецию в свой собственный мир, где вечеринка продолжается, где все делают что-то новое и искусство пахнет не музеем, но мастерской творца.

Прошлым летом я спросил у нее: «Как ты?» Вежливый, но насущный вопрос: она испытывала довольно сильные боли из-за проблем с артериями. «О, – ответила она, – не так плохо для умирающего человека».

Эти мемуары в двух частях – а они скорее произведения искусства, нежели что-то еще, хотя несведущий читатель не поймет, в чем это искусство выражается, – отражают мир, который теперь потерян так же безвозвратно, как тот номер в Уоткинсе, у которого не хватало одной цифры. Но поскольку текст этой книги написан самой Пегги, кое-что все же сохранено. В этих строках можно услышать ее бодрый голос и ее манеру растягивать слова; увидеть тот беглый взгляд в сторону, который почти каждый раз сопровождает ее меткие суждения; получить удовольствие если не от встречи с ней самой, то с ее тенью на страницах.

В последний раз я видел Пегги очень мрачной на итальянском телевидении. Венеция праздновала ее восьмидесятый день рождения – или по крайней мере та часть Венеции, которая не погрузилась в праздность в отличие от остальной Адриатики.

В какой-то момент показали красивую голову Пегги крупным планом. Голос за кадром спросил, что она думает о современных итальянских художниках. Она перевела взгляд на невидимого автора вопроса, и уголок ее сложенных в полуулыбку губ приподнялся еще выше. «О, – ответила она, – они все очень плохи». Затем вечная героиня Джеймса добавила: «Не так ли?»

Вся Италия оцепенела. Героиня «Золотой чаши» вдребезги разбила чашу – и вновь восторжествовала.

---

<sup>1</sup> Зале (ит.). – Здесь и далее – примечания переводчика.

## Предисловие Альфреда Х. Барра-младшего

Смелость и видение, щедрость и скромность, время и деньги, острое чутье на историческую значимость и эстетические достоинства – это те факторы обстоятельств и характера Пегги Гуггенхайм, которые сделали ее выдающейся покровительницей искусства XX века. Когда земля под ее ногами содрогалась от распрей между фракциями, она стояла твердо и не принимала ничью сторону, веря только в ту революцию, которая действительно имела значение. Как следствие, мы видим в ее коллекции работы диаметрально противоположные по духу и форме, хоть они и могут казаться схожими в своем радикальном своеобразии.

Коллекция Пегги Гуггенхайм – ее самое долговечное достижение в качестве покровительницы искусства, но, возможно, не самое важное. Я использую избитое и несколько высокопарное слово «покровительница» с опасением. И все же оно точно отражает суть. Ведь покровитель – это не просто коллекционер, который собирает произведения искусства ради удовольствия, или филантроп, который помогает художникам, фондам или публичным музеям, но человек, который чувствует ответственность перед искусством и художником и имеет возможность и силу воли поступать соответственно этому чувству.

В юности Пегги Гуггенхайм не интересовалась модернизмом. Она любила и изучала живопись итальянского Ренессанса, в частности венецианскую. Ее учебниками были книги Беренсона, и, возможно, они развили в ней понимание истории искусства, которое она перенесла в XX век, к той самой точке во времени и развитии вкуса, на которой остановился ее наставник.

Затем в конце 1930-х годов она открыла свою авангардную галерею в Лондоне, что было во многом любительской авантюрой. Ее главным консультантом был Марсель Дюшан (тот самый, который за двадцать лет до этого в Нью-Йорке помогал Катерине Дрейер в создании новаторского общества *Société Anonyme*). «Младшая Гуггенхайм», как она с юмором окрестила свое детище, провела несколько великолепных выставок, в том числе первые английские персональные выставки Кандинского, первого абстрактного экспрессиониста, и Ива Танги, художника-сюрреалиста. Вместе с тем галерея организовывала первые выставки для молодых художников, например Джона Таннарда, лучшего английского художника-абстракциониста того периода. И все же эти достижения ей казались слишком недолговечными.

В начале 1939 года у Пегги «возникла идея открыть музей модернизма в Лондоне» – проект, возможно, несколько преждевременный, учитывая, что незадолго до этого директор галереи Тейт объявил, что не пропустит через таможенную скульптуры Колдера, Арпа, Певзнера и других на выставку в «Младшей Гуггенхайм», поскольку они не являются произведениями искусства.

Имея способность находить помощников среди самых талантливых людей, она попросила Герберта Рида, впоследствии сэра Рида, стать директором будущего музея. Она убедила Рида, который считается ведущим английским экспертом в искусстве модернизма, покинуть пост редактора в уважаемом журнале «Берлингтон», чтобы занять эту новую рискованную должность. Директор и покровительница вместе составили идеальный список произведений для нового музея – этот же список они собирались взять за основу для открывающейся выставки. Было найдено здание, но прежде чем они смогли подписать договор аренды, началась Вторая мировая война, и мечта рассыпалась – или, скорее, осталась ждать своего часа.

В Париже во время «Странной войны» Пегги Гуггенхайм, почти не поддаваясь страху, продолжила пополнять свою коллекцию, покупая «по картине в день», в чем она следовала советам своих друзей: Дюшана, Говарда Путцеля и Нелли ван Дусбург. Она даже арендовала помещение для галереи на Вандомской площади, но меж тем военному затишью пришел конец. «Птицу в пространстве» Бранкузи она купила, когда немцы подступали к Парижу.



На протяжении первого года немецкой оккупации ее коллекция хранилась в музее Гренобля, однако не выставлялась, поскольку директор опасался санкций коллаборационистского правительства Виши. Наконец, весной 1941 года коллекция и ее хозяйка добрались до Нью-Йорка.

Во многом благодаря наплыву художников и писателей из Европы Нью-Йорк во время войны занял место Парижа в качестве центра искусства Западного мира. Позже многие европейцы вернулись, и многие из них – во Францию, но все же в послевоенном мире Париж не смог вернуть себе былое положение, и Нью-Йорк остался его соперником, в частности, из-за подъема самой уважаемой в международном сообществе группы художников, какую когда-либо порождала Америка. В ее развитии Пегги Гуттенхайм как покровительница сыграла важную, а в некоторых аспектах ключевую роль.

Она потерпела неудачу в Лондоне, Париже и Гренобле, но в Нью-Йорке, вдали от конфликта, ей удалось временно воплотить свое видение в реальность. С помощью художника-сюрреалиста Макса Эрнста и поэта Андре Бретона она продолжила расширять свою коллекцию и издала великолепный каталог «Искусство этого века» – так же она назвала свою галерею.

*Искусство этого века* немедленно стала центром авангарда. Из-за влияния Дюшана, Эрнста и Бретона в галерее была сильна традиция сюрреализма, но им она никогда не ограничивалась. Великий художник-абстракционист Пит Мондриан был частым гостем галереи и активно выступал в качестве члена жюри, отбиравшего работы для периодических групповых выставок молодых американских художников.

На первом Весеннем салоне выделились три художника: Уильям Базиотис, Роберт Мазеруэлл и Джексон Поллок. В течение года галерея положила начало их карьерам, устроив для них персональные выставки. Выставка Поллока, для каталога которой Джеймс Джонсон Суини написал полное энтузиазма предисловие, пользовалась особым успехом. Затем, опять-таки с удивительной дальновидностью, *Искусство этого века* провела выставки Марка Ротко, Клиффорда Стилла и других. Под дальновидностью я имею в виду тот факт, что, хотя в ту пору они не достигли своей творческой зрелости, Ротко, Стилл, Базиотис, Мазеруэлл, Поллок и еще два или три художника теперь нашли признание в США и постепенно находят его в Европе как столпы важнейшей новой школы Америки.

Ранние работы этих художников, купленные Пегги Гуттенхайм на их выставках в 1940-х, сейчас находятся в ее коллекции. Джексон Поллок, самый известный из них, представлен несколькими картинами, хотя среди них нет его самого большого монументального полотна, которое его покровительница заказала для вестибюля своей резиденции в Нью-Йорке. Она также обеспечивала Поллока финансово, а когда в 1947 году *Искусство этого века* закрылась, она помогла художникам перебраться в другие галереи.

Сейчас Пегги Гуттенхайм, ее коллекция и ее галерея продолжают работать в Венеции. Посетителям, которые изучают коллекцию под шум вод Гранд-канала, стоит узнать больше о прошлом ее хозяйки как покровительницы – в первую очередь, американцам, которые в особом долгу у своей соотечественницы Пегги Гуттенхайм.

## Глава 1. Привилегированное детство

У меня ужасная память. Я всегда говорю друзьям: «Если вы не хотите, чтобы что-то повторилось, не рассказывайте мне об этом. Я просто забываю, что так делать не надо». Я неизбежно все забываю и все повторяю.

Свои первые мемуары я начала писать в 1923 году. Их первые строки звучали так: «Обе семьи моих родителей принадлежат к числу лучших еврейских семей. Один мой дед родился в конюшне, как Иисус Христос, точнее, прямо над конюшней в Баварии, а другой мой дед был уличным торговцем». Далеко продвинуться в своем труде мне не удалось – вероятно, мне нечего было сказать, или я была еще слишком молода для подобной задачи. Сейчас я чувствую, что уже достаточно созрела. Если я буду дальше откладывать, я могу забыть все, что умудрилась помнить до сих пор.

Если мои деды и начинали жизнь в скромных условиях, то закончили они ее в роскоши. Рожденный в конюшне мистер Селигман прибыл в Америку в трюме корабля с сорока долларами в кармане, подхватив на борту оспу. Свое состояние он начал зарабатывать на поприще кровельщика, а во время Гражданской войны шил обмундирование для солдат армии Союза. Позже он стал известным банкиром и президентом храма Эману-Эль. С точки зрения социального статуса он поднялся куда выше моего другого деда, уличного торговца Гуггенхайма, родом из Ленгнау в немецкой Швейцарии. Мистер Гуггенхайм, хоть и преуспел значительно больше мистера Селигмана в накоплении богатства, скупив значительную часть медных шахт во всем мире, но так никогда и не достиг уровня социального признания мистера Селигмана. Когда моя мать вышла замуж за Бенджамина Гуггенхайма, Селигманы сочли их брак мезальянсом. Дабы заверить своих европейских родственников, что семья ее избранника – известные владельцы плавильных заводов, им послали телеграмму: «Жених Флоретты Гуггенхайм литейщик». Фраза надолго стала семейной шуткой: по ошибке в телеграмме напечатали, что он «ищейка».

К моменту моего рождения Селигманы и Гуггенхаймы чрезвычайно разбогатели. Гуггенхаймы уж точно, но и у Селигманов дела шли очень неплохо. Мой дед, Джеймс Селигман, был человеком весьма непритязательным: он отказывался тратить деньги на себя и морил голодом собственную сиделку. Он жил очень скромно и все отдавал детям и внукам. Он помнил все наши дни рождения и неизменно до самой своей смерти в возрасте девяноста трех лет выписывал каждому в подарок по чеку. А поскольку у него было одиннадцать детей и пятнадцать внуков, чекам этим не было числа.

Большинство его детей отличались чудачеством, если не сказать сумасбродством. Виной тому дурная наследственность, доставшаяся им от моей бабушки. Деду пришлось в конце концов развестись с ней. По всей видимости, вела она себя возмутительно. Моя мать рассказывала мне, что всякий раз, когда она приглашала в дом молодых мужчин, ее мать устраивала сцену. Бабушка могла прийти в магазин и, склонившись над прилавком, доверительно спросить у продавца: «Вы знаете, когда мой муж в последний раз со мной спал?»

Братья и сестры моей матери были до крайности эксцентричны. Одна из моих любимых теток обладала неповторимым сопрано. Случись кому встретить ее на автобусной остановке на углу Пятой авеню, она широко открывала рот и начинала распевать гаммы, желая, чтобы за ней повторяли. Шляпу она носила либо за спиной, либо на одно ухо. В волосы она всегда втыкала розу и опасно закрепляла прическу длинными шляпными булавками вместо самой шляпы. Подолы ее платьев волочились по земле и собирали пыль улиц. На ней непременно было боа из перьев. Она великолепно готовила и умела делать красивое томатное желе. Если она не играла на фортепиано, она либо стряпала на кухне, либо читала тикерную ленту. Она была заядлой картежницей. Ее преследовал странный страх микробов, из-за чего она постоянно протира

мебель «Лизолом». И все же за ее экстравагантное очарование я очень ее любила. Чего не могу сказать о ее муже. После тридцати лет ссор он попытался убить ее и одного из их сыновей клюшкой для гольфа. Когда ему это не удалось, он бросился к пруду и утопился в нем, привязав к ногам груз.

Другая тетка, которая походила больше на слона, чем на человека, на склоне лет внушила себе, что у нее некогда был роман с аптекарем. Этот плод ее воображения заставил ее испытывать такие угрызения совести, что она впала в меланхолию и ее пришлось поместить в лечебницу.

Мой самый эффектный дядя был выдающимся джентльменом старой школы. Разведясь с женой, не менее богатой, чем он сам, он решил жить в чрезвычайной простоте и поселился в двух крохотных комнатах, тратя все свои деньги на шубы, которые раздавал девушкам. Почти любая девушка могла получить от него в подарок шубу, стоило ей попросить. Он носил орден Почетного легиона, но никогда не говорил нам, за что его удостоился.

Другой дядя много лет питался углем, отчего его зубы стали черными. Он носил в оцинкованном футляре кусочки дробленого льда и постоянно их посасывал. Он пил виски до завтрака и почти не ел никакой еды. Он много играл в карты, как и большинство моих дядьев и теток, а когда у него кончались средства, он грозился самоубийством, чтобы вытянуть деньги из моего деда. У себя в комнате он прятал любовницу. Никому не разрешалось приходить к нему до тех пор, пока он, наконец, не застрелился и уже больше не мог держать семейство на расстоянии. На похоронах мой дед возмутил своих детей, пройдя по проходу церкви под руку с любовницей покойного сына. Все недоумевали: «Да как Па только может?»

Еще один дядя был скрягой и никогда не платил ни цента. Он приходил к середине трапезы и говорил, что не голоден, а затем съедал все, что видел перед собой. После ужина он устраивал для племянниц жуткое представление под названием «змея». Мы одновременно приходили в ужас и восторг. Он выстраивал несколько стульев в ряд, а потом, извиваясь, полз по ним на животе, чем и правда производил впечатление змеи. Два других моих дяди были почти нормальными. Один постоянно умывался, а другой писал пьесы, которые никто никогда не ставил. Последний был душкой, и его я любила больше всех.

Другой мой дед, Мейер Гуггенхайм, счастливо жил со своей женой – дочерью своей мачехи. Они вырастили семью еще большую, хоть и менее эксцентричную, чем Селигманы. Семь братьев и три сестры произвели на свет двадцать три внука. Когда моя бабушка умерла, за дедом стала ухаживать его кухарка. По всей видимости, она была его любовницей. Я помню, как она плакала навзрыд, когда деда рвало. В моем единственном воспоминании об этом джентльмене он в одиночестве разъезжал по Нью-Йорку в санях, запряженных лошадьми, одетый в пальто с воротником из тюленьего меха и такой же шапке. Он умер, когда я была еще совсем ребенком.

Я родилась в Нью-Йорке на Западной Шестьдесят девятой улице. Об этом я ничего не помню. Моя мать рассказала мне, что, пока акушерка наполняла бутылку горячей водой, я ворвалась в мир со своей обычной скоростью и закричала, как кошка. Передо мной почти тремя годами ранее на свет появилась моя старшая сестра Бенита. Она стала большой любовью моих ранних дней и даже всей моей незрелой жизни. Не исключено, что эта любовь не прошла до сих пор.

Вскоре мы переехали в дом на Восточной Семьдесят второй улице возле входа в Центральный парк. Нашими соседями оказались Стиллманы и Рокфеллеры. Напротив жила вдова президента Гранта. Мой отец заново отремонтировал дом и сделал его очень элегантным. Здесь родилась моя вторая сестра, Хейзел, когда мне было почти пять. Я дьявольски к ней ревновала.

О каждой детали этого дома я по-прежнему храню ярчайшие воспоминания. Многие годы он даже снился мне. При входе в наше новое имение нужно было пройти не через одни, но через две пары стеклянных дверей, разделенных вестибюлем. После этого ты оказывался

в небольшой мраморной прихожей с фонтаном. На стене висело чучело орла с цепями. Мой отец сам его подстрелил – незаконно – в горах Адирондак, куда мы ездили в свой загородный дом в конце лета.

В конце этой прихожей с мраморной лестницей была дверь к лифту. Когда я впервые за много лет вернулась в Нью-Йорк в 1941-м, я пришла в этот дом навестить свою тетку. Мне составила компанию моя шестнадцатилетняя дочь, и когда мы ехали в лифте, она неожиданно спросила меня: «Мама, ты жила здесь, когда была девочкой?» Я сдержанно ответила: «Да», и для убедительности добавила: «Здесь родилась Хейзел». Дочь посмотрела на меня удивленно и выдала следующее заключение: «Мама, ты явно потеряла в социальном статусе». С тех пор дворецкий, который сопровождал нас наверх, смотрел на меня с подозрением и неохотно пускал в дом. Хотя пропуском мне могли бы служить одни только мои воспоминания.

На приемном этаже располагалась столовая с высоким потолком, панелями и шестью непримечательными гобеленами. В дальней части дома была небольшая оранжерея, заполненная растениями. По центру этого этажа находилась гостиная с гигантским гобеленом, на котором Александр Македонский триумфально входил в Рим. Напротив гобелена стоял двойной чайный столик с несуразным серебряным сервизом. Именно в этой комнате моя мать раз в неделю собирала на чай наискучнейших представительниц еврейской великосветской буржуазии и заставляла меня при этом присутствовать.

В передней части дома располагалась приемная в стиле Людовика XVI с огромными зеркалами, гобеленами на стенах и обитой гобеленами мебелью. На полу лежала шкура медведя, у которого была громадная красная пасть с красным языком. Иногда язык отваливался, и отдельно от головы он выглядел омерзительно. Зубы зверя тоже выпадали, и их приходилось постоянно вставлять на место. Еще там стоял рояль. Я помню, как однажды вечером я спряталась под ним и редела в темноте. Отец выгнал меня из-за стола, потому что я, будучи в нежном возрасте семи лет, сказала ему: «Папа, у тебя, наверное, есть любовница, раз ты так часто задерживаешься по вечерам».

Над центром дома возвышался стеклянный купол, пропускавший внутрь дневной свет. По ночам его освещала люстра, которую обвивала по кругу спиральная лестница. Она начиналась на приемном этаже и заканчивалась на четвертом, где я жила. Я в точности помню мелодию, которую придумал и насвистывал мой папа, когда поздно приходил домой и поднимался по этой лестнице. Так он меня выманивал; я обожала отца и бросалась ему навстречу.

Третий этаж принадлежал родителям. В передней части на нем располагалась библиотека с красными бархатными панелями на стенах и большими стеклянными книжными шкафами с классикой на полках. Здесь на полу лежала еще одна шкура – тигриная. На стенах висели четыре портрета моих бабушек и дедушек. В этой комнате, как и во всех других, окна закрывали кружевные кремовые шторы.

И именно в этой комнате я сидела за огромным столом в стиле Людовика XVI с покрытой стеклом столешницей, пока меня кормила горничная, чьей единственной обязанностью на тот момент было следить, как я ем. У меня напрочь отсутствовал аппетит. Когда слезы не помогали, я продолжала сопротивляться так неистово, что меня рвало, и на этом кормежка заканчивалась.

В задней части дома находилась комната моей матери. При входе в нее было небольшое отгороженное помещение со стенными шкафами, где мама хранила свой богатый гардероб. В комнате все покрывал розовый шелк и стояли две односпальные кровати. Мебель там была из красного дерева с медной инкрустацией. На бюро, слишком высоком для роли туалетного столика, хранился набор серебряных кисточек и флаконов. Еще там стояло трюмо, напротив которого мать сидела, пока служанка-француженка или специально приглашенный парикмахер делали ей прическу. Этот час мне разрешалось играть в ее комнате. За спальней находилась гардеробная отца.

Этаж выше безраздельно принадлежал нам с сестрами, до тех пор пока в дом не переехал дедушка Селигман. Рядом с моей комнатой была крутая темная лестница в людскую. Я ужасно этой лестницы боялась и видела ее в кошмарах.

О комнатах прислуги я также храню отчетливые воспоминания: они едва ли отличались удобством и составляли разительный контраст нашим изысканным спальням. Хуже всего жилось слугам-мужчинам. Их комнаты располагались даже не на верхнем этаже, а в убогих пролетах подсобной лестницы. Кухня находилась ниже уровня земли, и, как следствие, света туда проникало очень мало.

Моя мать часто давала званые ужины, и я помню, как во время одного из них моя нянька, стремглав сбегав вниз по лестнице, отвела мать от стола. Она услышала детский плач из комнаты кухарок и, начав выяснять, в чем дело, обнаружила спрятанного в чемодане младенца, задушенного пуповиной. Всего за несколько дней до того в наш дом пришла искать приюта девушка. Она разродилась в одиночестве, после чего умертвила своего незаконнорожденного ребенка. Наш семейный врач засвидетельствовал ее невменяемость, чем спас ее от тюрьмы.

Детство мое было чрезвычайно несчастливym; у меня не осталось ни одного хоть сколько-то радостного воспоминания. Сейчас те годы мне кажутся одной нескончаемой мукой. В раннем возрасте я ни с кем не дружила. Я пошла в школу только в пятнадцать лет, а до того мной занимались частные репетиторы. Помню, какое-то время я брала совместные уроки с девочкой по имени Дульси Шульцбергер. Я живо интересовалась двумя ее братьями, в особенности одним, Марионом.

Мой отец настаивал на нашем всестороннем образовании и следил за тем, чтобы нам прививали «хороший вкус». Он сам увлекался искусством и часто покупал картины. В Мюнхене по его заказу наш портрет написал Ленбах, но мне тогда было только четыре, и я ничего об этом не помню: мои самые ранние воспоминания относятся ко времени, когда уже родилась Хейзел. Ленбах нарисовал меня в платье а-ля Ван Дейк и по какой-то странной причине наградил меня карими глазами вместо зеленых и рыжими волосами вместо каштановых. С Бенитой он обошелся менее прихотливо. Вероятно, она сама по себе была такая хорошенькая, что он написал ее как есть, с ее темно-русыми волосами и карими глазами. У меня сохранилось два портрета, на одном – только я, на другом – мы с Бенитой, где у меня светлые волосы. Это два величайших сокровища из моего прошлого.

Из своих игрушек я помню только лошадку-качалку с огромным крупом и кукольный домик с медвежьими шкурами на полах и красивыми хрустальными канделябрами. Этот домик, по всей видимости, обладал для меня пугающей ностальгической ценностью, поскольку я годами пыталась воссоздать его для своей дочери. Я месяцами оклеивала стены обоями и покупала предметы для его обстановки. Я и по-прежнему не могу перестать покупать игрушки. Потом я сразу же отдаю их детям, но покупаю для собственного удовольствия. Еще я помню стеклянный комод, заставленный крошечной мебелью ручной работы из слоновой кости и серебра, от которого я хранила старомодный ажурный ключ из латуни. Я держала комод закрытым и никому не давала притронуться к своим сокровищам.

Самые яркие воспоминания у меня остались о Центральном парке. Когда я была совсем маленькой, мать возила меня по нему в электрической карете. У Восточной аллеи лежал камень, похожий на пантеру, готовую к прыжку. Я называла его кошкой, и каждый раз, когда мы проезжали мимо, я делала вид, что звоню ей – поздороваться или предупредить о нашем приближении. В качестве телефонного аппарата я использовала рупор нашего электромобиля. Позже я каталась там в маленькой машинке с педалями – Центральная аллея была идеальной трассой. В Рэмбле я одна карабкалась по камням, пока гувернантка ждала внизу. Зимой меня заставляли кататься на коньках, отчего я ужасно страдала. У меня были слишком слабые лодыжки и плохое кровообращение. Я никогда не забуду мучительную боль в заиндевевших пальцах ног, когда я прижималась к печи в домике для посетителей катка.

Все это оставило во мне такой болезненный след, что с тех пор я старательно избегала Центрального парка. Я обходила его стороной, даже когда вернулась в Нью-Йорк в начале 1940-х. И все же одним жарким летним вечером Альфред Барр привел меня туда. Я пыталась обнаружить призраки своего детства, но все переменялось. Верным моим воспоминаниям остался только Рэмбл с его древним замком.

Мало того что мое детство было до крайности одиноким и тоскливым; в нем мне пришлось пережить множество испытаний. У меня была нянька, которая грозилась отрезать мне язык, если я расскажу матери, какие она говорила мне гадости. От отчаяния и страха я все же на нее нажаловалась, после чего нянька была немедленно уволена. Я была слабым ребенком, и родители постоянно пеклись о моем здоровье. Они воображали у меня всевозможные болезни и без конца водили по врачам. В какой-то период моей жизни, когда мне было около десяти, они решили, что у меня некое пищеварительное расстройство, и нашли врача, который назначил мне кишечные орошения. Выполнять их поручили няне Хейзел, которая едва ли обладала нужной квалификацией для проведения этой процедуры, что в результате привело к катастрофе. Со мной случился острый приступ аппендицита; меня пришлось срочно везти в больницу и оперировать. Несколько дней мне ничего не говорили об операции, потому что считали, что я для этого слишком маленькая. Но я не верила их выдумкам и не сомневалась, что живот мне-таки разрежали.

Вскоре после этого моя сестра Бенита подхватила коклюш и меня пришлось изолировать, чтобы я, не дай Бог, не заразилась и свежий шов на громадном разрезе не разошелся от кашля. Мама сняла дом в Лейквуде, Нью-Джерси, и уехала туда с Бенитой, а меня поселили в отеле с медсестрой. Надо ли говорить, как одиноко мне было той зимой – мне только иногда позволяли издалека переговариваться с Бенитой на улице. У моей матери было несколько племянниц на выданье, и она постоянно устраивала для них приемы, запирая Бениту в другом крыле дома. Бенита в результате очень загрустила. Меня, по всей видимости, считали не по годам развитой и испорченной, раз позволяли навещать мать и развлекать ее гостей. Я влюбилась в одного из них. Его звали Макс Россбах, и он учил меня играть в бильярд.

Еще через какое-то время со мной произошел несчастный случай, пока я каталась на лошади в Центральном парке. Там мальчишки катались на роликовых коньках по мосту, и когда я проезжала под ним, от грохота лошадь испугалась и понесла. Моя учительница верховой езды оказалась не в состоянии удержать зверя. Я выпала из седла и свалилась на землю, после чего лошадь еще долгое время волокла меня за собой. Нога у меня застряла в стремях, а юбка зацепилась за луку. Если б я не сидела боком, этого бы не случилось. Я не только повредила ногу, но и сильно ударила лицом. Я сломала челюсть в двух местах и потеряла передний зуб. Потом этот зуб нашел в грязи полисмен и прислал мне его в письме, а на следующий день дантист его продезинфицировал и вставил обратно. На этом мои беды не закончились – мне нужно было вправить челюсть. Во время операции хирурги разругались между собой в пух и прах. В конце концов один из них одержал верх и вдолбил мою несчастную челюсть на место. Поверженный дантист, по фамилии Буксбаум, никогда не забыл той обиды. Он считал, что у него на мою челюсть особое право, раз он годами правил мне зубы. Я же была только рада тому, что на этом мучительное восстановление моей внешности подошло к концу. Поначалу сохранялся риск заражения крови. Когда эта опасность миновала, единственное, чего мне нужно было опасаться, это ударов по лицу, от которых мой еще не прижившийся зуб мог снова выпасть. В те дни моими единственными противниками были теннисные мячи, и на время игры я придумала себе способ защиты: привязывать на рот чайное ситечко. Все, кто меня видел, должно быть, думали, что у меня гидрофобия. Когда я полностью оправилась, отец получил счет на семь с половиной тысяч долларов от дантиста, который так и не признал своего поражения. Отцу неохотно пришлось убедить этого джентльмена принять две тысячи.

При всех стараниях, которых мне стоило сохранить зуб, я знала, что он останется со мной в лучшем случае на десять лет, а потом его корень полностью рассосется и зуб придется заменять фарфоровым. Мне удалось предугадать время его жизни с точностью практически до дня. Через десять лет я записалась на прием к врачу, чтобы заменить зуб, пока он не выпал – что он и сделал за два дня до приема.

Одним из моих сильнейших увлечений был актер Уильям Джилетт. Я ходила на все его дневные спектакли и во время пьесы «Тайная служба» буквально каждый раз кричала ему, что в него сейчас будут стрелять.

После происшествия, как только мне позволили, я снова стала заниматься верховой ездой, но на этот раз не рисковала. Я не только пошла к учителю-мужчине, но и стала сидеть в седле по-мужски. В четырнадцать я влюбилась в своего тренера. Он был очаровательным ирландцем и флиртовал со всеми ученицами.

Бенита в детстве была моей единственной спутницей, и потому я глубоко к ней привязалась. Нас всегда сопровождали француженки-гувернантки, но они так часто менялись, что я ни одной толком не запомнила. Хейзел, будучи сильно младше, имела свою няньку и жила несколько отдельной от нас жизнью. Свою мать в те годы я совсем не помню.

Когда мне было пять или шесть, отец начал заводить любовниц. В нашем доме жила медсестра, которая делала ему массаж головы – он мучился невралгией. Со слов моей матери, эта массажистка стала корнем всех бед в ее жизни и каким-то образом дурно повлияла на отца, хоть сама и не была его пассией. Матери потребовались годы, чтобы избавиться от ее отвращающего присутствия в кругу семьи, поскольку отец крайне нуждался в ее массажах. В конце концов она ушла, но было слишком поздно. С того времени отец сменил целую череду любовниц. Маму чрезвычайно оскорбило, что мои тетки продолжили поддерживать отношения с той медсестрой, и долго враждовала с ними из-за их дружбы. Все это сказалось на моем детстве. Я постоянно оказывалась втянута в дразги моих родителей и оттого рано повзрослела.

Отец всегда называл меня Мегги; Пегги я стала сильно позже. Он заказывал для нас прелестную бижутерию по собственным рисункам. Однажды он в честь моего имени – Маргарет – презентовал мне маленький браслет, похожий на венок из маргариток, из жемчуга и бриллиантов. Мать получала от него более солидные подарки, в том числе великолепную нить жемчуга.

Я обожала отца, потому что он был красив и обаятелен и еще потому что он любил меня. Но я страдала оттого, что он делал мою мать несчастной, и порой ссорилась с ним из-за этого. Каждое лето он возил нас в Европу. Мы побывали в Париже и Лондоне, где мама навестила сотни французских и английских Селигманов. Еще мы ездили на модные курорты. Моя мать очень скупилась на чаевые, и я помню, как однажды, к моему ужасному стыду, я обнаружила на наших чемоданах нарисованные мелом кресты. Когда мы уезжали из Трувиля, швейцары пометили их так в предостережение для носильщиков следующего отеля – наших будущих жертв.

Отец нанял особу по имени миссис Хартман обучать нас искусству. Мы взяли ее с собой в Европу, где ее обязанностью было культурно нас просвещать. С ней мы посетили Лувр, музей Карнавалле и замки Луары. Она учила нас истории Франции и познакомила с Диккенсом, Теккереем, Скоттом и Джорджем Элиотом. Еще она дала нам полный курс по операм Вагнера. Несомненно, миссис Хартман сделала все, чтобы стимулировать наше воображение, но лично меня в то время больше занимали другие вещи. Например, я сходила с ума по папиному другу Руди. Сейчас не могу себе представить, чем этот типичный повеса меня очаровал. Но тогда я безумно влюбилась и писала пылкие письма о своей страсти, где говорила, что мое тело распято на кресте из огня. Когда Руди женился на одной из моих кузин, которую мама пригласила с нами в Европу и чей плачевный брак, по моим опасениям, организовали они с папой, я рыдала горькими слезами и не могла простить такого предательства. Я причитала, что он не имел права играть чувствами двух женщин одновременно. Мне тогда было примерно одиннадцать.

Помимо сердечных метаний у меня в жизни было и более приземленное хобби – я собирала изящных куколок из воска и одевала их по последней моде, самостоятельно придумывая и делая для них наряды. Меня вдохновило на это лето в Трувиле, где нас окружали шикарно одетые леди и куртизанки.

Однажды, когда мы с Бенитой и нашей гувернанткой пили чай в кафе «Румпельмейер» в Париже, мое внимание привлекла женщина за соседним столиком. Я не могла оторвать от нее глаз. Мы, похоже, вызвали у нее такую же реакцию. Спустя много месяцев я допытывалась у гувернантки, кто же любовница моего отца, и в конце концов она ответила: «Ты ее знаешь». У меня перед глазами сразу же вспыхнуло лицо женщины из «Румпельмейера», и гувернантка подтвердила мою догадку.

Та женщина оказалась графиней Таверни. Она не была ни красива, ни молода. Я никогда не могла понять, чем она так страстно увлекла моего отца. Однако в ней ощущалась та же притягательность (наверное, чувственная), что и в его массажистке. Она была смуглой и напоминала мартышку. У нее были некрасивые зубы – мать презрительно говорила, что они вовсе «черные». В Париже мы встречали ее повсюду и из-за этого оказывались в крайне неловких ситуациях. Как-то мама отправилась со мной и Бенитой в ателье портного Ленва и зашла в комнату, где уже сидела графиня Таверни. Мама тут же бросилась прочь, и мы последовали за ней. Персонал ателье отнесся к случаю с французским пониманием и выделил нам отдельный зал.

Графиня, как мы называли ее, или Г.Т., как кратко обращался к ней отец, одевалась в высшей степени элегантно. У нее был костюм, полностью сшитый из меха ягненка. Однажды во время утренней прогулки по парку на Авеню-дез-Акасья мы встретили графиню в этом самом костюме. Мать обрушилась на отца с упреками в излишней расточительности. В надежде задобрить ее, он дал ей денег, чтоб она сшила себе точно такой же костюм. Будучи предприимчивой женщиной, мать взяла деньги, но вместо этого вложила их в акции и облигации.

Графине Таверни предшествовала другая особа. Той женщине, которую я так ни разу и не видела, практически удалось женить на себе отца. Моя мать всерьез думала разводиться. Но все семейство Гуггенхаймов, группами и поодиночке, умоляло ее изменить свое решение. Поток посетителей в нашем доме не иссякал ни на минуту. Все они как один стремились во что бы то ни стало предотвратить катастрофу. В конце концов мама сдалась. Я не знаю, когда завершился их роман, но мне известно, что разочарованной любовнице достался богатый утешительный приз, и на протяжении многих лет она регулярно два раза в год получала часть моего дохода.

Графиня Таверни продержалась недолго, и за ней последовала молоденькая блондинка-певица. Она была с моим отцом, когда он утонул на «Титанике» в 1912 году, и оказалась в числе выживших, добравшихся до Нью-Йорка.

В 1911 году отец освободился от нас, насколько мог себе это позволить. Он оставил бизнес своих братьев и основал собственный в Париже. Несомненно, им двигало желание жить более привольной жизнью, но последствия этого поступка оказались куда более серьезными, чем он мог предположить. Расставшись с братьями и начав собственный бизнес, он лишился своей доли в колоссальном состоянии. У него была квартира в Париже, и он владел, частично или полностью, предприятием, которое построило лифты в Эйфелевой башне. Весной 1912 года он собирался наконец вернуться к нам после восьми месяцев отсутствия. Он забронировал себе место на борту парохода, но рейс отменили из-за забастовки кочегаров. По роковому стечению обстоятельств ему суждено было лишиться жизни: новый билет он купил на злосчастный «Титаник».

14 апреля на выходе из здания Метрополитен-оперы людей встречали крики «Экстренный выпуск!», возвещавшие о трагическом крушении гигантского лайнера в его первом же плавании. В надежде поставить рекорд по времени рейса Брюс Исмей, президент судоходной компании «Уайт Стар Лайн», лично присутствовавший на борту, и капитан корабля проигно-



рировали предупреждение об айсбергах и продолжили путь, невзирая на опасность. «Титаник» несясь навстречу своей гибели. Первый же айсберг на его пути распорол ему днище. Корабль потонул за час, и его корма и нос ушли под воду одновременно, после того как его расколол пополам чудовищный взрыв. Спасательных шлюпок хватало только на четверть людей на борту. Кто умел плавать, замерз в ледяной воде еще до того, как на помощь поспел капитан Ростром на почтовом судне «Карпатия». Спаслось семьсот человек из двух тысяч восьмисот. Трагедия потрясла весь мир. Все ждали задержав дыхание, когда «Карпатия» достигнет берега и станет известно, кому же посчастливилось выжить. Мы отправили телеграмму капитану Рострому с вопросом, на борту ли наш отец. Он ответил: «Нет». По какой-то причине мне сообщили об этом, тогда как мать держали в неведении до последнего момента. Две мои кузины поехали встречать выживших. Они встретили его любовницу.

Вместе с отцом погиб очаровательный молодой египтянин, Виктор Джилио – его секретарь. Ему довелось пережить в прошлом непростые времена, и он был счастлив работать на отца, полагая, что теперь его беды остались позади. Я увлекалась этим юношей, но папа не одобрял моего пыла. Выживший стюард «Титаника» пришел передать нам от него последнее послание нашего отца. Он рассказал, что отец и его секретарь решили одеться в вечернее и встретить смерть, как подобает джентльменам, галантно уступив места в шлюпках женщинам и детям, – очевидно, что и произошло.

Тело моего отца не нашли, поэтому он не похоронен в Галифаксе с другими жертвами, чьи тела вынесло на берег. На борту «Титаника» погибли и многие другие известные личности, в том числе, Гарри Элкинс Уайденер, Джон Б. Тайер, Джон Джейкоб Астор, Эдгар Мейер и Исидор Штраус с женой, которая отказалась оставить супруга. В те дни, до Первой мировой войны и потопления «Лузитании», крушение «Титаника» считалось трагедией мирового масштаба. Разумеется, проводилось расследование, но капитан покончил с собой, а точнее, был достаточно порядочен, чтобы пойти на дно вместе со своим судном. С тех пор мы чурались компании «Уайт Стар Лайн» как чумы.

На момент смерти отца мы жили в отеле «Сент-Реджис», – дом мы сдавали одной из моих теток, – где занимали огромные апартаменты. В те дни отель «Сент-Реджис» был оплотом семейства Гуггенхаймов. Мой дядя Даниэль арендовал целый этаж под нами. Каждую пятницу там проходили семейные встречи, на которых дяди говорили о бизнесе, а тетки собирались в углу и обсуждали моду. Само собой, им всем было что сказать на этот счет, поскольку одевались они у лучших портных Нью-Йорка.

После смерти отца я ударилась в религию. Я регулярно ходила на службы в храм Эмануэля и с особенной трепетной радостью поднималась во время кадиша (молитвы по умершим). Смерть отца оставила во мне глубокий след. Мне потребовались месяцы, чтобы справиться с мыслями о чудовищной трагедии «Титаника», и годы, чтобы смириться с потерей отца. В каком-то смысле мне так и не удалось смириться полностью, и я искала ему замену всю свою жизнь.

После смерти отца его дела остались в кошмарном беспорядке. Мало того что он потерял огромное состояние, разорвав партнерство со своими братьями, но и те деньги, которые у него были, порядка восьми миллионов долларов, он потерял в Париже. Те крохи, что от них остались, он вложил в акции, которые не приносили никакой прибыли и обладали такой низкой ценностью, что продать их не представлялось возможным. Однако моя мать об этом всем не знала и продолжала жить с прежним размахом. Мои дяди Гуггенхаймы галантно давали нам любые ссуды, продолжая держать нас в абсолютном неведении. В конце концов мать узнала правду и решительным образом покончила с этой иллюзией. Для начала она стала жить на собственные деньги. Мы переехали в более скромную квартиру и отказались от части прислуги. Она продала свои картины, гобелены и драгоценности. Она справлялась очень неплохо, и мы никогда не бедствовали, но с тех пор во мне поселился комплекс, что я больше не настоящая

Гуггенхайм. Я чувствовала себя бедным родственником и испытывала ужасное унижение от мысли, что я неполноценный член семьи. Через четыре года после смерти отца умер мой дед Селигман, и от него матери досталось небольшое наследство. Им мы немедленно расплатились с братьями отца. Через семь лет мои дядя разделили отцовское имущество. Давая нам ссуды, они в результате добились того, что моим сестрам и мне досталось по четыреста пятьдесят тысяч долларов и чуть больше – моей матери. Половина моей доли перешла в доверительный фонд, и дяди убедили меня добровольно распорядиться так же и второй половиной.

Конечно же, мы носили траур. Я чувствовала себя очень важной и сознательной в черном. К моему облегчению, к лету нам позволили надевать белое. Мы поехали в Алленхерст на берегу Нью-Джерси, где летом отдыхало большинство наших знакомых еврейских семей. Точнее, не в самом Алленхерсте, а поблизости – в Дил-Бич, Элбероне и Вест-Энде, большую часть которых составляли дома еврейской буржуазии. Это было самое уродливое место на свете. На голом берегу не росло ни кустов, ни деревьев. Из цветов я помню только выющиеся розы, настурции и гортензии, которые я с тех пор не выношу. У бабушки был семейный особняк в Вест-Энде, где родились все его дети, в том числе моя мать, младшая. И именно в этом жутком викторианском поместье во время Первой мировой войны мой дед умер в возрасте девяноста трех лет.

Моим дядям Гуггенхаймам принадлежали самые роскошные дома на побережье. Жена одного из них была родом из Эльзаса, и с ее французским вкусом они выстроили точную копию Малого Трианона в Версале. Другой дядя владел роскошной итальянской виллой с мраморными внутренними дворами в помпейском стиле, красивыми гротами и садами, утопленными ниже уровня земли. По сравнению с ними дом бабушки Селигмана обладал скромными достоинствами. Его оба этажа полностью окольцовывали две террасы. На этих террасах всюду стояли кресла-качалки, на которых целый день сидело и раскачивалось все семейство. Этот дом доходил до такого уродства в своем викторианском совершенстве, что не мог не завораживать. Довершали все это семейные портреты. Мою мать с ее двумя сестрами и пятью братьями в детстве написали в костюмах того времени, из черного бархата и с белыми кружевными воротниками. В руках они держали птиц, Библии или обручи. Все они на этих портретах выглядели очень сонными, чем безошибочно выдавали свое семитское происхождение.

Поскольку большую часть того побережья населяли евреи, оно почти превратилось в гетто. В Алленхерсте, антисемитском городе, напротив нашего дома стоял отель, куда не пускали евреев. Тем летом, к нашему большому удовольствию, он сгорел дотла; мы стояли поодаль и за этим наблюдали. На том ужасном берегу мы проводили каждое лето, что не ездили в Европу. Мы купались в неистовых волнах Атлантики, играли в теннис и ездили на лошадях. Тем не менее я предпочитала Европу, и на следующий 1913 год мы уговорили мать взять нас туда.

Когда в 1914 году началась война, мы снова были в Англии в гостях у одного из маминых кузенов, сэра Чарльза Селигмана. Я помню, как я возмутила его своим легкомысленным и экстравагантным аппетитом. Он волновался, что с приходом войны есть будет нечего, а я просила добавки говядины, чтобы прикончить остатки горчицы.

## Глава 2. Девичество

Летом на шестнадцатом году жизни я впервые получила опыт сексуального характера. Впечатления от него у меня остались печальные и пугающие. Началось все с моей нежной влюбленности в Фредди Зингера, племянника владельцев компании по производству швейных машинок «Зингер». Мы жили в одном отеле в Аскоте. Его брат влюбился в Бениту, и мы все вместе танцевали, играли в теннис и прекрасно проводили время. Но после этого со мной произошёл случай, который привил мне отторжение и страх к физической близости. Я гостила у одной из своих двоюродных теток в Кенте. У нее в доме жил молодой студент-медик из Мюнхена, который родился в Америке и потому не был интернирован. Он явно пытался совратить меня, а мой страх, по всей видимости, только раззадоривал его. Никогда еще я не испытывала такого ужаса. Когда я позже встретила его в Нью-Йорке, он снова принялся обхаживать меня – на этот раз с целью женитьбы. Я убедила его вместо меня взять в жены мою кузину. Она была моей лучшей подругой, и он испытывал чувства к нам обеим. Я тогда училась в школе, а кузина была уже взрослой женщиной и на пятнадцать лет старше нашего воздыхателя. Их брак оказался успешным, и они стали родителями двух очаровательных девочек-близняшек.

Во время войны меня наконец отправили учиться в школу. В частной школе Джекоби в Вест-Сайде учились девочки-еврейки, и я каждый день ходила туда через Центральный парк из нашей квартиры на углу Пятой авеню и Пятдесят восьмой улицы. Но уже через несколько недель я слегла с коклюшем и бронхитом и всю зиму провела в постели. Я чувствовала себя одинокой и покинутой, поскольку в том году Бенита дебютировала в свете и мать занималась только ею. Каким-то образом я умудрилась самостоятельно делать все домашние задания, чтобы не отставать от класса и сдать экзамены. Я вовсе не наделена выдающимся умом, и далось мне это чрезвычайно трудно. Однако я любила читать, и в те дни я не расставалась с книгой. Я читала Ибсена, Харди, Тургенева, Чехова, Оскара Уайльда, Толстого, Стриндберга, Барри, Джорджа Мередита и Бернарда Шоу.

Мой второй год в школе проходил несколько успешнее первого. Я регулярно посещала уроки, если не считать того недолгого времени, что болела корью. Зимой мы были заняты репетициями постановки «Маленьких женщин» для выпускного. Миссис Куайф, наша прекрасная учительница драматургии, всю жизнь относившаяся ко мне с большой теплотой, познакомила меня с поэзией Браунинга и дала мне в пьесе роль Эми. После окончания школы я отказалась от идеи пойти в колледж, не без влияния Бениты. Она отговорила меня, как я отговорила до того ее. Я жалела об этом решении многие годы.

На втором году школы я начала вести социальную жизнь. Я организовала маленький танцевальный клуб вместе с одноклассницами и еще несколькими девочками. Мы сами вносили средства на организацию ежемесячного бала. Нам разрешалось приглашать на него не больше одного-двух юношей. Мы составили список подходящих молодых людей из нашего еврейского круга, и я провела шуточный аукцион, победительницам которого выпала честь пригласить избранных кавалеров. Эти танцы проходили очень весело и безо всякого пуританства.

Примерно в то время, когда я заканчивала школу, я близко подружилась с прелестной девушкой по имени Фэй Льюисон. Она походила на Джеральдину Фаррар, что казалось крайне уместным сравнением с учетом того факта, что в ее доме регулярно собиралась труппа Метрополитен-оперы. Я испытывала к Фэй чувства куда более сильные, чем она ко мне; тогда я этого не осознавала, но теперь подозреваю, что эти чувства по характеру были близки «Девушкам в униформе». Возможно, Фэй об этом догадывалась. В любом случае, ее интересовали юноши.

Мать Фэй, миссис Адель Льюисон, и ее бабушка, миссис Рэндольф Гуггенхаймер, были очаровательными хозяйками. Они щедро развлекали не только певцов, но и интеллектуальную элиту Нью-Йорка. К сожалению, мы с Фэй были еще слишком юны, чтобы принимать в этих

развлечениях участие. Или вернее было бы сказать, что Фэй противилась этому не меньше, чем я участию в социальной жизни своей матери. Ее семья жила в доме на Пятой авеню с причудливым балконом на верхнем этаже с каменными женскими изваяниями наподобие кариатид. Миссис Льюисон души во мне не чаяла, а я в ней; многие годы спустя, когда я встретила ее в Париже, она сказала мне, что высоко ценила нашу дружбу с Фэй и жалела, что того же нельзя было сказать о ее дочери. Она считала меня серьезной девушкой, тогда как Фэй думала только о развлечениях.

Летом 1915 года меня впервые поцеловали. Сделал это юноша, который каждый вечер катал меня на автомобиле моей матери. После этого он неизменно его одалживал, чтобы доехать до дома, и возвращал на следующий день в семь утра по дороге на станцию, откуда ехал на работу в Нью-Йорк. Мама не одобряла моего поклонника, ведь он ничего не имел за душой. Она держала себя в руках ровно до того вечера, когда он поцеловал меня в первый и последний раз. Мы были в гараже, и он, наклонившись ко мне, случайно нажал на гудок автомобиля, чем разбудил мою мать. Она обрушилась на нас с потоком ругани. «Он решил, что мой автомобиль – это такси?» – кричала она. Разумеется, больше этого юношу я не видела. Мама торжествовала, но через несколько лет Судьба показала, какую она совершила ошибку с точки зрения собственных стандартов: молодой человек получил в наследство миллион долларов.

После окончания школы я оказалась в неприкаянном состоянии. Я по-прежнему запоем читала и посещала курсы истории, экономики и итальянского. Моя преподавательница по имени Люсиль Кон оказала на меня влияние сильнее, чем какая-либо другая женщина за всю мою жизнь. Из-за нее в моей судьбе произошел роковой поворот. Случилось это постепенно и не в одночасье. Она была одержима стремлением сделать мир лучше. Я прониклась ее радикальными взглядами и благодаря этому наконец смогла вырваться из удушающей атмосферы, в которой меня растили. Мое раскрепощение заняло долгое время, и хотя несколько лет ничего особенного не происходило, семена, которые она посеяла, всходили и росли в таких направлениях, о которых моя преподавательница едва ли могла и подумать. Ее круг интересов ограничивался политикой и экономикой. Она безоговорочно верила в Вудро Вильсона. Однако, когда он не смог осуществить свою программу, она, разочаровавшись, присоединилась к рабочему движению. Я не смогла сделать того же, поскольку была на тот момент в Европе, но поддерживала ее крупными суммами. Позже она сказала, что этими деньгами я тоже изменила ее жизнь. Она заняла важный пост в своем движении и после этого многие годы рьяно трудилась на его благо.

Во время войны я научилась вязать. Однажды начав, я не смогла остановиться. Я брала с собой вязание всюду – за стол, на концерты, даже в кровать. Я достигла такого мастерства, что могла связать носок за один день. Я помню, что дедушка Селигман не одобрял моих скоростей, потому что я тратила слишком много денег на шерсть. Боюсь, его бережливость превосходила даже его патриотизм.

Во время войны мы не могли ездить в Европу, и на одно лето мама повезла нас в Канаду. Мы проделали весь путь на автомобиле. Почти всю дорогу я вязала и пропустила большинство прекрасных видов за окном. Иногда я все же поднимала взгляд и сполна получала вознаграждение за эту жертву. В Канаде мы завели близкое знакомство с канадскими солдатами, дислоцированными под Квебеком. Мы с Бенитой и нашей подругой Этель Франк замечательно проводили с ними время. По дороге домой в Вермонте нас вежливо, но твердо отказались пускать в отель из-за нашего еврейского происхождения. Поскольку закон запрещает отелям отказывать в размещении на ночь, нам разрешили остаться до утра, после чего сообщили, что наши комнаты сданы. От этого во мне развился новый комплекс неполноценности.

Позже я пошла в коммерческую школу учиться стенографии и машинописи. Я надеялась получить военную работу, но слишком отставала от девушек из рабочего класса и чувствовала себя среди них посторонней. Я быстро сдалась.

В 1916 году состоялся мой дебют в свете. Я устроила большой прием в честь високосного года в зале отеля «Ритц». С тех пор я постоянно разъезжала по приемам и проводила вечера в компании молодых людей. Пускай я любила танцевать и хорошо это делала, я находила такой образ жизни нелепым. Для меня все это отдавало фальшью, и я никогда не могла найти серьезного собеседника.

Потом мы переехали в дом двести семьдесят по Парк-авеню. Моя мать разрешила мне самой выбрать мебель для моей спальни и записать на ее счет. Увы, я послушалась ее и отправилась за покупками в священный День искупления – великий иудейский праздник Йом-Кипур. Мне строго-настрого запретили это делать, и я была жестоко наказана за свой грех. Мама отказалась платить за мебель. Я оказалась в огромном долгу, который мне предстояло выплатить из своих карманных денег. Бенита пришла мне на помощь и несколько недель помогала мне. Я помню, как помимо всего прочего она заплатила за меня в салоне красоты Элизабет Арден.

С самого моего раннего детства к нам домой ровно в двенадцать приходила скорбная пожилая дама по имени миссис Мак. Эта шепелявая особа была закупщицей, которая записывала в свой маленький блокнот все, что требовалось в доме. В один день это могли быть три ярда кружева, бутылка клея и шесть пар чулок; в другой – упаковка мыла, швейный шелк и зеленое перо для шляпы. Ближе к Рождеству для нее наступало самое хлопотное время; тогда она уже приходила с большой тетрадью и с глазу на глаз узнавала у моих сестер и меня, что мы хотим приобрести в подарок для миссис Дэн, миссис Сол, миссис Саймон, миссис Мюррей и так далее – так она называла моих теток из семейства Гуггенхаймов. Затем она отправлялась по магазинам, где у нее были открыты счета и где ей полагалась десятипроцентная скидка. Поскольку она неизменно покупала не то, что нужно, большую часть своей жизни она тратила на обмен вещей. Когда мы покупали все сами, мы справлялись быстрее и выигрывали не меньше, потому как все записывали на ее счет.

В 1918 году я получила военную работу. Я сидела за конторкой и помогала нашим офицерам-новобранцам покупать униформу и прочие принадлежности по сниженным ценам. В мои обязанности входило давать консультации и составлять бесконечные рекомендательные письма. Я работала вместе с Этель Франк, моей ближайшей подругой по школе. Когда она заболела, я взяла на себя ее долю обязанностей, но долгие рабочие часы оказались для меня чрезмерной нагрузкой. Я сломалась. Началось все с потери сна. Затем аппетита. Я неуклонно худела и становилась тревожной. Я обратилась к психологу и сказала ему, что мне кажется, будто я теряю рассудок. Он ответил: «А вы уверены, что вам есть что терять?» При всем остроумии его ответа мои опасения имели основания. Я собирала с полу все спички, попадавшие мне на глаза, и не могла заснуть по ночам, переживая за те дома, которые могли сгореть из-за того, что какую-то спичку я пропустила. Отмечу, что все они были уже сгоревшие, но я боялась, что среди них могла оказаться и целая. В отчаянии мама наняла для присмотра за мной мисс Холбрук, сиделку моего покойного деда. Я бесцельно бродила, прокручивая в голове проблемы Раскольникова и размышляя над тем, как много общего у меня с героем «Преступления и наказания» Достоевского. В конце концов мисс Холбрук усилием воли заставила меня думать о чем-то другом. Постепенно я вернулась в нормальное состояние. В то время я была помолвлена с оставшимся в стране офицером-летчиком. За время войны я сменила несколько женихов: мы все время развлекали солдат и моряков.

Весной 1919 года Бенита вышла замуж за Эдварда Майера, молодого американского авиатора, только что вернувшегося из Италии. Все это сложилось крайне неудачно. С 1914 года она была влюблена в русского барона, с которым она познакомилась в Европе. По какой-то причине, которая для меня осталась загадкой, этот русский, хоть, по всей видимости, и любил ее, так и не сделал ей предложения. Во время войны он находился с дипломатической миссией в Вашингтоне, и мы часто видели его в Нью-Йорке.

В некий момент помутнения разума Бенита все же согласилась выйти за летчика, когда тот стал грозиться покончить с собой, если она ему откажет. Мы с Пегги, нашей лучшей подругой, были их свидетелями на церемонии в ратуше. Уже после заключения брака мы вернулись домой и рассказали обо всем матери. Она потребовала аннулировать его, и Бенита не сильно ей противилась. Но в результате они с авиатором таки отправились в медовый месяц и остались вместе. С моей точки зрения, он был ее совершенно недостоин. Он имел броскую внешность, но был недалеко, не способен на подлинную страсть и чрезмерно склонен к мелодраме. Я ужасно ревновала и расстраивалась. Мне невыносимо не хватало Бениты дома, где я осталась наедине с матерью – Хейзел училась в пансионе. Моя мать стремилась отдать всю себя детям и после смерти отца не думала ни о чем другом. Мы жалели, что она не вышла замуж еще раз.

Летом 1919 года я вступила в права на свое наследство и стала независимой. Мою мать это опечалило. Больше она не могла меня контролировать. Первым делом я отправилась в дорогостоящее путешествие по всем Соединенным Штатам. В качестве спутницы я взяла с собой кузину своего зятя. Мы отправились к Ниагарскому водопаду, оттуда в Чикаго, затем в парк Йеллоустон, потом через всю Калифорнию к Мексике и вдоль всего берега к канадским Скалистым горам. В то время Голливуд только зарождался. Он был так мал, что практически еще вовсе не существовал. Там жила одна моя кузина, которая познакомила меня с несколькими людьми из мира кинематографа. Они все показались мне сумасшедшими. По пути домой мы заехали в Гранд-Каньон. Затем мы вернулись в Чикаго, где я встретилась со своим демобилизованным женихом-авиатором. Он представил меня своей семье, где все были родом из Чикаго, но я не произвела на них впечатления. Я слишком много жаловалась на провинциальность их города. Когда я садилась на поезд «Двадцатый век Лимитед», он сообщил мне, что помолвка отменяется. Я ужасно расстроилась, ведь мне казалось, будто я в него влюблена, и я терпеливо ждала, когда его бумажный бизнес принесет ему состояние и мы сможем наконец пожениться. Его звали Гарольд Вессел.

Зимой 1920 года мне было так скучно, что я не придумала ничего лучше, чем сделать операцию по исправлению формы носа. Он и так был уродлив, но после операции, вне сомнения, стал еще хуже. Я поехала в Цинциннати к хирургу, который занимался пластическими операциями. Он предложил мне выбрать желаемую форму носа из нескольких гипсовых слепков. Он так и не смог добиться той формы, которую я хотела («с приподнятым кончиком, словно цветок» – что-то подобное я вычитала у Теннисона). Во время самой операции под местным наркозом, пока я терпела муки проклятых, окруженная пятью медсестрами в белых масках, врач внезапно попросил меня поменять выбор. Нужная форма у него никак не получалась. Боль была такая невыносимая, что я попросила прекратить операцию и оставить все как есть. В результате мой нос болезненно опух, отчего я долгое время не решалась вернуться в Нью-Йорк. Я пряталась на Среднем Западе и ждала, пока сойдет отек. Каждый раз я заранее знала, когда пойдет дождь, потому что мой нос превратился в барометр и всякий раз распухал в плохую погоду. Я отправилась с подругой во Френч-Лик, Индиана, и проиграла там в карты еще почти тысячу долларов – столько же стоила операция.

Спустя какое-то время ко мне приехала Маргарет Андерсон и спросила, не соглашусь ли я передать некоторую сумму денег для журнала «Литтл Ревью», а также представить ее моему дяде. Она сказала, если войны и можно предотвратить, то только жертвованиями в пользу искусства. Будучи юной и наивной, я поверила, что смогу отсрочить следующую мировую войну на несколько лет, если дам пятьсот долларов «Литтл Ревью». Я отправила Маргарет к тому дяде, который раздавал шубы, и если она не добилась от него пятисот долларов (теперь я уже не помню точно), то наверняка получила шубу.

Благодаря Люсиль Кон радикальным образом изменились мои убеждения, но едва ли она могла предвидеть, каким образом я достигну настоящего освобождения. Однажды я отправилась на прием к своему дантисту и обнаружила его в затрудненном положении. Его медсестра

заболела, и ему приходилось одному справляться со всей работой. Я вызвалась заменить ее, насколько мне это по силам. Он принял мое предложение и платил мне за это два доллара тридцать пять центов в день. Я встречала посетителей, принимала звонки, подавала инструменты и кипятила их. Еще я узнала, у кого из моих знакомых вставные зубы. Разумеется, некоторые пациенты меня узнавали и с большим удивлением спрашивали у доктора Скоби, не мисс ли Гуггенхайм встретила их при входе. Все это довольно скоро закончилось, когда вернулась настоящая медсестра.

Теперь я не могла оставаться без работы и предложила свои услуги кузену Гарольду Лебу. Он держал радикальный книжный магазинчик рядом с Центральным вокзалом. Так я стала клерком и вторую половину дня проводила на балконе магазина, выписывая чеки и занимаясь другими скучными делами. Вниз меня допускали в полдень, когда другие продавцы уходили на обед, и я их заменяла. Как-то раз я пожаловалась на свою судьбу Гилберту Кеннану, который долгие часы проводил в магазине, на что он сказал мне: «Не переживай, леди Гамильтон начинала судомойкой».

Хоть я и была всего лишь клерком, я являлась в магазин каждый день, обильно надупшившись, в нитке мелкого жемчуга и великолепном темно-сером пальто. Мама не одобряла того, что я работаю, часто заходила проверить, чем я занята, и приносила мне галоши, если шел дождь. Я очень смущалась. Приходили и мои богатые тетки и скупали книги для своих библиотек в буквальном смысле ярдами. Нам приходилось доставать мерную ленту и проверять, совпадает ли длина стопки книг с длиной книжных полок.

В этом книжном я встретила множество знаменитостей и писателей, в том числе Мадсена Хартли и моего будущего мужа, Лоуренса Вэйла, а также Леона Флейшмана и его жену Хелен, которая позже вышла замуж за сына Джеймса Джойса.

В книжном магазине «Санвайз-Терн» мне не платили жалованья, но Гарольд Леб и его партнерша, Мэри Мобрей Кларк, снижали для меня цену на все книги на десять процентов. Ради создания иллюзии, будто я работаю не задаром, я покупала множество книг современной литературы и читала их со своей обычной ненасытностью.

Люди в «Санвайз-Терн» восхищали меня. Они были такими настоящими, такими живыми, такими естественными. Они жили совсем другими ценностями. Я любила Мэри Мобрей Кларк; она стала для меня почти богиней. В конце концов она продала свой книжный сети «Даблдей Доран», выкупив задолго до того долю Гарольда Леба.

Мадсен Хартли восхищал и пугал меня, как и Гилберт Кеннан. Лоуренса я боялась куда меньше. В то время ему было двадцать восемь, и мне казалось, что он из другого мира. Я никогда раньше не встречала мужчину, который не носил бы шляпы. Разметанные прядки его красивых золотых волос струились на ветру. Меня шокировала и в то же время завораживала его свобода. Он всю жизнь прожил во Франции и говорил с акцентом, перекатывая «р» на французский манер. Он был словно дикий зверь. Казалось, ему совершенно нет дела, что думают окружающие. Когда я шла с ним по улице, мне чудилось, что он в любой момент может вспарить и улететь – так мало его связывало с обыденностью.

Флейшманы стали моими близкими друзьями. Они практически удочерили меня. После разбившего мне сердце ухода Бениты я была счастлива обрести новый дом. Я влюбилась в Леона, который мне казался похожим на греческого бога, но Хелен ничего не имела против. Они были очень свободомыслящими.

Однажды Леон взял меня с собой к Альфреду Стиглицу. Картина, которую они дали мне в руки, стала первым произведением абстрактной живописи, что я увидела в своей жизни. Ее написала Джорджия О'Кифф. Я перевернула ее четыре раза, прежде чем сообразила, с какой стороны на нее смотреть. Леона и Альфреда это повеселило. Стиглица в следующий раз я увидела только двадцать четыре года спустя, и, когда я с ним заговорила, мне показалось, что не прошло и минуты. Мы продолжили разговор ровно с того места, где остановились.

Вскоре после этого я отправилась в Европу. В тот момент я не думала, что останусь там на двадцать один год, но это бы меня не остановило. Мама поехала со мной и взяла с собой кузину моей тети Ирэн Гуггенхайм, Валери Дрейфус, чтобы за мной приглядывать. На тот момент я уже была неуправляема, и мать знала, что не сможет всюду за мной успевать. Сколько могла, я тащила за собой этих двух особ через Европу со своей обычной скоростью и энтузиазмом. Вскоре мама устала и оставила меня на попечение Валери. Она-то уж выдерживала мой темп. По правде говоря, она даже подталкивала меня. Она всюду уже побывала ранее и знала, как разумнее всего путешествовать, потому была прекрасным проводником. Мы посетили Голландию, Бельгию, Испанию и Италию. С моей матерью мы до того уже бывали в Шотландии, большей части Англии и долине Луары.

В то время мое желание увидеть все находилось в контрасте с отсутствием подлинного интереса к местам моих путешествий. Причиной тому была иная страсть. Очень скоро я знала наизусть, где в Европе хранится какая картина, и объездила все эти места, даже если мне приходилось часами добираться до крохотного городка, чтобы увидеть только одно полотно. У меня был замечательный друг, Арманд Лоуэнгард, племянник сэра Джозефа (а позже лорда) Дювина. Он изумительно разбирался в итальянской живописи. Разглядев во мне потенциал, он настойчиво подначивал меня к изучению искусства. Он сказал, что мне ни за что не понять Беренсона, и это заявление возымело свое действие. Я немедленно купила и проглотила семь томов великого критика. После этого я всю жизнь пыталась смотреть на все с точки зрения семи положений Беренсона. Если мне удавалось найти картину с тактильной ценностью, я приходила в восторг. Арманд был ранен в войну и быстро утомлялся. Моя энергичность его чуть не убила, и при всем его восхищении мной он вынужден был вскоре прервать наши отношения, поскольку я явно отнимала у него слишком много сил.

У меня был еще один кавалер, Пьер. Он приходился дальним кузеном моей матери. Я чувствовала себя очень порочной, потому что как-то раз поцеловала и его, и Арманда в один и тот же день. Пьер хотел взять меня в жены, но в мои планы входило только заводить как можно больше поклонников. Вскоре мне стало мало и этого. Мы близко подружились с русской девушкой по имени Фира Бененсон. Мы жили в отеле «Крийон» в Париже и состязались, кто сможет получить больше предложений руки и сердца. Мы одевались по последней французской моде и, вне всякого сомнения, вели себя как идиотки.

Флейшманов я не видела до своего краткого приезда в Америку весной – на свадьбу Хейзел и Сигги Кемпнера. При встрече я убедила их пожить в Париже. У них был ребенок и почти не было денег после увольнения Леона с поста директора издательства «Бонай энд Лайврайт», поэтому переезд представлял для них непростую задачу. И все же они это сделали. Этим я изменила их жизнь не меньше, чем они мою – уже на тот момент и в дальнейшем.

Благодаря Флейшманам я вновь встретилась с Лоуренсом Вэйлом; Хелен была его подругой. У нее с ним закрутился небольшой роман, к которому ее подтолкнул Леон; он получал удовольствие от такого положения вещей. Хелен пригласила меня к ним на ужин с Лоуренсом, но при этом велела Лоуренсу не уделять мне слишком много внимания, иначе Леон будет недоволен. Думаю, Леона мы тогда все же обидели, поскольку заметно увлеклись друг другом.

Через несколько дней Лоуренс пригласил меня на прогулку. Мы отправились к могиле Неизвестного солдата, а потом прошлись вдоль Сены. На мне был изящный костюм, отороченный мехом колонка, сшитый по моему эскизу. Лоуренс привел меня в бистро и спросил, что я хочу заказать. Я попросила порто-флип, как обычно делала в барах, где привыкла бывать. В то время я вела исключительно роскошный образ жизни и ни разу не бывала в обычном кафе, поэтому не имела представления, что там заказывают.

На тот момент меня уже начала сильно беспокоить моя девственность. Мне было двадцать три, и она меня тяготила. Любой кавалер был готов жениться на мне, но приличия не позволяли им со мной спать. Я хранила коллекцию фотографий фресок, которые я видела



в Помпеях. Они изображали людей в процессе занятия любовью в самых разных позах, и меня, разумеется, терзало любопытство и желание испробовать их самой. Вскоре мне пришло в голову, что я могу использовать в этих целях Лоуренса.

Лоуренс жил со своей матерью и сестрой Клотильдой в чрезвычайно буржуазной квартире рядом с Булонским лесом. Его отец, если не лежал в санатории с *crise de nerfs*<sup>2</sup>, тоже жил с ними, чем приводил в расстройство всю семью. Мать Лоуренса была аристократкой родом из Новой Англии, а отец – художником бретонских корней, наполовину французом, наполовину американцем. Уже многие годы он страдал неврастенией, и его семья не знала, что с ним делать. Они перепробовали все, но он оставался самым неизлечимым неврастеником на свете.

Лоуренс жаждал снова уехать из дома. Мать давала ему на расходы всего сто долларов в месяц, а если учесть, что в год она получала десять тысяч дохода, то едва ли эту сумму можно назвать слишком щедрой. Тем не менее она предпочитала тратить деньги на мужа, чей личный капитал уже давным-давно ушел на оплату счетов от врачей. Он побывал в каждой санатории Европы. Лоуренс мог бы и сам устроиться на работу, но ему не нравилось работать. Он обладал значительным писательским талантом, хотя пока еще не обрел свою славу.

Он рассказал мне, что собирается арендовать небольшую квартиру, и я спросила, не разрешит ли он мне разделить с ним саму квартиру и плату за нее, надеясь таким маневром добиться какого-то результата. Он согласился, но вскоре передумал. При нашей следующей встрече он сообщил мне, что снял комнату в отеле на рю де Верней на Левом берегу, в Латинском квартале. Он пришел ко мне в отель «Плаза-Авени», где я жила, и там попытался заняться со мной любовью. Когда он притянул меня к себе, я так легко поддалась, что он даже удивился отсутствию сопротивления с моей стороны. Тем не менее мне пришлось сказать ему, что сейчас не лучшее время, поскольку вот-вот должна вернуться моя мать. Он ответил, что мы могли бы как-нибудь уединиться в его номере. Я немедленно побежала за шляпой, и мы поехали на рю де Верней. Думаю, изначально это не входило в его намерения. Вот так просто я потеряла девственность. Скорее всего, Лоуренсу пришлось со мной нелегко: я хотела перепробовать все, что видела на помпейских фресках. После этого я вернулась домой на ужин с матерью и подругой, втайне торжествуя и воображая, какой была бы их реакция, если бы они знали мой секрет.

---

<sup>2</sup> Нервным срывом (*франц.*).

### Глава 3. Замужество

Лоуренс считался королем богемы. Он был знаком со всеми американскими писателями и художниками и знал многих французских. В те дни они собирались в кафе «Ротонда» на Монпарнасе, но Лоуренс однажды повздорил там не то с официантом, не то с администратором и уговорил всех перебраться напротив – в кафе «Ле Дом». После этого они уже не вернулись в «Ротонду». Еще Лоуренс устраивал великолепные вечеринки в квартире своей матери. На первой, где я оказалась, творилось совершенное безумие. Я привела с собой буржуазного французского драматурга и, чтобы тот почувствовал себя в своей тарелке среди богемы, просидела у него на коленях почти весь вечер. В какой-то момент я получила предложение (едва ли руки и сердца) от Тельмы Вуд, ставшей потом известной как Робин из «Ночного леса» Джуны Барнс, которая для этого опустилась передо мной на одно колено. Всюду творились очень странные вещи. Отец Лоуренса был дома, и его раздражал бедлам вокруг него. В отчаянии он попытался укрыться в туалете, но обнаружил там двух рыдающих юношей. В другой уборной он наткнулся на двух хихикающих девушек. Поскольку ему нравилось быть в центре внимания, – в любой ситуации он стремился быть звездой, – он устроил сцену, после чего ему легчало. И если из гостей на него никто не обратил особого внимания, то уж точно обратила жена.

Вскоре я познакомилась с двумя подругами и бывшими любовницами Лоуренса: Мэри Рейнольдс и Джуной Барнс. Они были красавицами; за таким носом, как у них обеих, я тщетно проделала путь в Цинциннати. Мэри была смуглой, высокой и изящной, со статной фигурой и мягкими глазами. Особенно в ней привлекала заостренная по середине лба линия волос – «вдовый пик». Во всем божественном обществе у нее единственной водились деньги, но у нее все равно от них не оставалось и гроша уже в тот момент, когда они приходили из Америки, – она все одалживала или просто раздавала. Мэри была военной вдовой. Теперь она ждала в Париже некоего мужчину по имени Норман, которому сперва надо было избавиться себя от уз брака.

Совсем иной была Джуна. На тот момент она уже состоялась как писательница. Леон занял у меня сто долларов, чтобы помочь ей добраться до Европы. Позже она устроилась работать журналисткой – она носилась по Европе и брала интервью у известных людей. Джуна писала статьи о знаменитостях, за которые ей платили баснословные гонорары. Но на момент нашего знакомства она еще не успела разбогатеть.

Хелен Флейшман попросила меня отдать Джуне свое белье. За этим последовал неприятный скандал, потому что я отдала ей штопаное шелковое белье «Кайзер». Мое исподнее делилось на три четкие категории: лучшее, отороченное настоящим французским кружевом, которое я хранила в качестве приданого, чуть менее хорошее, но не штопаное, и третье – то, что я послала Джуне. После высказанного ей недовольства я отправила ей белье второй категории. Когда я пришла к ней домой, она сидела за печатной машинкой в этом комплекте. Она смотрелась очень красиво с ее белой кожей, восхитительными рыжими волосами и стройным телом. Ее крайне смутило, что ее застали в том самом исподнем, из-за которого поднялось столько шума. Тем не менее я извинилась перед ней за первую посылку, и она меня простила. Когда Хелен передала Джуне подарки, та просто открыла комод и сказала: «Раскладывай». Мне показалось уместным проявить дружелюбие, и потому я отдала ей свой любимый желто-коричневый плащ и любимую шляпу с петушиными перьями. Когда Джуна ее надевала, она становилась похожа на итальянского солдата.

Как-то раз я отвела Джуну в Лувр и там прочитала ей лекцию о французской живописи. По-моему, она заскучала. Потом мы встретились с Мэри Рейнольдс и пошли вместе обедать. Во время еды мне было не до разговоров с ними: я готовила домашнее задание. Я тогда учила русский, чтобы Фира Бененсон не могла иметь от меня секретов. Все ее друзья были русскими, и я чувствовала себя лишней в их обществе, поэтому решила выучить русский язык.

Когда Лоуренс рассказал о наших отношениях Хелен, она хорошо восприняла это известие. Леон же пришел в ярость. Тем не менее на этом связь Лоуренса с Хелен закончилась, и с тех пор он принадлежал мне. Я решила серьезно подойти к этим отношениям и уговорила мать отправиться в короткую поездку в Рим с одной из ее племянниц. Исполнять роль моей надзирательницы она поручила Валери Дрейфус. Бедная Валери понятия не имела, что происходит, но тоже сняла комнату в отеле «Плаза-Атени» и старалась за мной приглядывать. Лоуренс бывал у меня почти каждый день.

Однажды Лоуренс привел меня на вершину Эйфелевой башни и, пока мы смотрели на Париж, спросил, соглашусь ли я выйти за него замуж. Я сразу ответила «да». Я была рада, но стоило Лоуренсу сделать предложение, как он пожалел о нем. Его начали терзать сомнения. Каждый раз, когда мне казалось, будто он пытается проглотить свой кадык, я знала, что он жалеет о тех словах. Его беспокойство по поводу нашего будущего неуклонно росло, и в один день он сбежал в Руан, чтобы собраться с мыслями. Его мать, миссис Вэйл, настояла, чтобы с ним поехала Мэри Рейнольдс (и даже оплатила ее билет на поезд) в надежде, что это создаст необходимые условия для расторжения помолвки. Однако в Руане они только и делали что ругались, и вскоре Лоуренс сообщил мне телеграммой, что все еще хочет на мне жениться.

Когда наша помолвка более или менее подтвердилась, я решила рассказать об этом матери. Мама немедленно примчалась из Рима с намерением предотвратить этот брак. Она потребовала у Лоуренса рекомендаций. Тот обладал обширным кругом знакомств и однажды в Санкт-Морице даже встретил короля Греции, поэтому ради забавы дал моей матери его имя. Мать записала его в маленький блокнот, который всегда носила с собой. Эта ситуация ее озадачила, и она даже поинтересовалась у меня, как ей связаться с королем Греции. Разумеется, все были против нашей женитьбы. Леон приходил к моей матери и пугал ее катастрофическими последствиями этого брака, а Марион, брат Дульси Шульцбергер и мой давний друг, умолял меня отказаться от этой затеи. Он говорил: «Делай что хочешь, живи со мной как сестра, но только не выходи за Лоуренса». Конечно же, я за него вышла. Виной всему стал адвокат по имени Чарли Леб. Мы пришли к нему за консультацией, но прежде чем мы успели что-то понять, он уже собрал все бумаги, напечатал объявления и составил брачный контракт для защиты моих прав.

После публичной огласки я начала думать, что мы и вправду поженимся, но внезапно Лоуренс решил отправиться на Капри со своей сестрой Клотильдой и отложить свадьбу. Я должна была вернуться в Нью-Йорк, а он – приехать ко мне в мае, если сохранит намерение жениться. Как-то раз после полудня, уже собрав все вещи, он вышел купить билеты. Мы с моей матерью и миссис Вэйл сидели в отеле «Плаза-Атени», каждая со своими мыслями по поводу грядущего. Неожиданно Лоуренс появился в дверном проеме, бледный как призрак и спросил: «Пегги, ты выйдешь за меня завтра?» Само собой, я сказала «да». Даже тогда я все еще не могла быть уверена, что Лоуренс не сбежит, поэтому не стала покупать свадебное платье. Вместо этого я купила шляпку.

Утром в день свадьбы мне позвонила мать Лоуренса и сказала: «Он ушел». Я решила, будто он сбежал. Но нет; она имела в виду, что он вышел за мной. Мы отправились на трамвае в муниципалитет Шестнадцатого округа на авеню Анри-Мартин, где должна была пройти церемония.

Мы пригласили огромное количество друзей. Гости свадьбы делились на четыре четкие категории. Во-первых, Лоуренс пригласил всех своих богемных приятелей, а поскольку жениться на мне ему было несколько стыдно, в качестве приглашений он разослал им *petit bleu*<sup>3</sup> с просьбой явиться, словно приглашая на вечеринку, даже не упомянув, кто его невеста. Моя мать пригласила живших в Париже французских Селигманов и всех своих друзей-бур-

---

<sup>3</sup> «Пти-блю», телеграмма на синей бумаге (франц.).

жуа. Мать Лоуренса пригласила американскую общину, в кругах которой ее хорошо знали как хозяйку салонов. Я пригласила всех своих друзей – в то время очень неоднородную компанию. Среди них были писатели и художники, в основном крайне уважаемого социального статуса, и, конечно, Борис Дембо, мой русский друг, который всю свадьбу рыдал из-за того, что я выхожу не за него. Моей свидетельницей стала Хелен Флейшман, а Лоуренса – его сестра. Мама почти заплакала, когда ее не пригласили поставить свою подпись в свидетельстве, поэтому нам пришлось добавить ее имя в список свидетелей. По нашей просьбе она закупила море шампанского и устроила большой прием в «Плаза-Атени» после церемонии.

После всего выпитого шампанского и многочасовых танцев кто-то предложил Лоуренсу увезти меня на медовый месяц. Мы собирались через три дня ехать в Италию, но Лоуренс как будто совсем не торопился с завершением свадебной вечеринки. У него уже был уговор с сестрой, и ему ужасно не хотелось уезжать от нее. Он словно боялся, что наш брак прекратит их отношения. Я пошла ему навстречу и сказала, что она может присоединиться к нам на Капри, куда мы собирались на медовый месяц. Но когда я позвала с нами моего преподавателя русского, Жака Шифрина, Лоуренс запротестовал и мне пришлось отменить приглашение. В конце концов Бетти Хьюмс, подруга Лоуренса из консульской службы, уговорила его увести невесту. Мы поехали в отель на рю де Риволи и легли спать. Встать нам пришлось довольно скоро, потому что многих друзей мы позвали на вторую свадебную вечеринку в ресторане «Бык на крыше» на рю Буасси д'Англа. По пути туда мы заехали в «Прюни» и съели гору устриц.

На следующее утро пришел врач сделать мне *piqûre*<sup>4</sup> – я еще не до конца оправилась после гриппа. Этот врач лечил Пруста и ухаживал за ним всю ту зиму, когда он умирал. Извещение о моем замужестве вызвало у него искреннюю радость, и он сказал мне, что я вступаю в новую дивную жизнь. Сама я была в подавленном настроении и не ожидала от него таких слов, поэтому удивленно ответила: «Вы правда так думаете? Я – нет».

Как только я осознала, что замужем, я сразу пала духом. Тогда я впервые задумалась, действительно ли я хотела этого брака. Поскольку до самого последнего момента Лоуренс пребывал в сомнениях и метаниях, мне было не до размышлений о собственных чувствах. Теперь, когда я достигла заветной цели, она утратила для меня свою ценность.

Я встретила с матерью за обедом. Ее разбирало любопытство, как прошло мое (как она думала) знакомство с любовью, а я в ответ стала хвастливо извиняться за то, что меня теперь всюду сопровождает запах «Лизола». Мама решила, что поняла мой намек, и спросила: «Сколько раз ты им пользовалась?» Меня возмутила ее бестактность, и я отказалась отвечать. Все официанты в «Плаза-Атени» смотрели на меня так, будто их тоже ужасно интересует этот вопрос.

Через два дня мы уехали в Рим. Мама привезла мне на вокзал срочный паспорт с моим новым именем, Маргарет Гуггенхайм Вэйл, на случай, если мне понадобится сбежать от Лоуренса, в чей паспорт я была вписана.

В Риме мы навестили моего кузена Гарольда Леба, который там издавал журнал «Брум» с Китти Кеннелл. Его возмутило, что Лоуренс носит сандалии без носков. Я хотела сохранить независимость, поэтому решила провести в Риме своих бывших ухажеров, а Лоуренс отыскиал нескольких прежних подруг. Меня не оставляло чувство разочарования в браке; я ждала от него чего-то куда более волнительного.

---

<sup>4</sup> Инъекцию (франц.).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.